

Письмо, не полученное адресатом

Прага, старое еврейское кладбище на Ольшанах. На сером камне, наминающем поставленный стоймя гроб, начертаны имена Франца Кафки, его отца Германа Кафки и матери Юлии, урожденной Лёви. Отец и мать пережили сына, своего первенца, и во мне отчетливо звучат слова, которые много лет назад я прочитал в "Конармии" Бабеля, в новелле "Кладбище в Козине": "О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?".

У Германа и Юлии было кроме Франца, первенца, еще двое сыновей, оба они умерли в младенчестве. В последующие годы в семье родились три девочки — Элли, Оттла и Валли, — но мальчиков больше не было: Франц остался единственным сыном.

Единственный сын — это единственный сын, тем более для такого отца, как Герман Кафка, который сам, своими силами, должен был выбиваться в люди, неся на себе с отроческих лет бремя местечкового наследия с его вековыми, точнее, средневековыми традициями и нравами.

И вот произошло нечто непостижимое, произошло фатальное, роковое: оба — и отец, и сын его, первенец, — хотели, чтобы было хорошо, а получилось наоборот — плохо. Прожив почти всю свою жизнь в доме отца, не покидая его, отчего своего дома, Франц Кафка стал тем, что в библейской традиции именуется "блудным сыном". Но блудным сыном из числа тех, кто хоть и не исключает возвращения в отчий дом, но на деле все более удаляется от него, и так до последнего дня своего, до гробовой доски. У Франца и Германа так буквально и произошло: в отчий дом привезли уже тело блудного сына.

Когда это началось: противостояние сына и отца, нескончаемая война между двумя самыми близкими людьми, которые хотели любить друг друга, которые не раз и не два порывались открыть и сердца свои, и объятия, и сказать один другому: я люблю тебя, отец! я люблю тебя, сын! — но вместо этого уподоблялись врагам, ненавистникам, у которых языки, когда они обращались один к одному, превращались в жала?

Жан Пиаже, основатель экспериментальной психологии, был, кажется, первым среди психологов, кто поставил под сомнение ходячее представление, что ребенок — это тот же взрослый человек, только малый годами. Нет, сказал Пиаже, видение ребенка столь отличается от видения взрослого человека, что уместно говорить о двух принципиально различных видениях.



Франц Кафка
Письмо к отцу

Мир ребенка — это не просто мир человека, малого годами. Это иной мир, абсолютно отличный, со своими психофизическими законами, измерениями и своими ценностями, которые не просто отличны от измерений и ценностей взрослого человека, но во многом исключают их или, если ребенок пытается определить их по своей психологической шкале, внушают ему непреодолимый ужас и страх, которые сохраняются на всю жизнь.

Писатель — это человек, который хорошо помнит свое детство. "Мы все вышли из страны своего детства", — сказал Сент-Экзюпери.

И вот, все еще не в силах преодолеть своего детского страха перед отцом, Франц, доктор права Франц Кафка, на тридцать седьмом году жизни пишет в "Письме к отцу": "Непосредственно мне вспоминается лишь одно происшествие из ранних лет.

Может быть, Ты тоже помнишь его. Однажды ночью я все время скулил, прося воды, наверняка не потому, что хотел пить, а, вероятно, отчасти чтобы позлить вас, а отчасти чтобы развлечься". Отец, намытарившись за день в своей лавке, где провел шестнадцать часов, естественно, нуждался в отдыхе, просил сначала сына утомиться, а потом, когда уговоры не помогли, перешел к угрозам, но и угрозы не помогли, и тогда "Ты вынул меня из постели, — напомнил Франц, — вынес на балкон и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью".

Правильно или неправильно поступил отец, Герман Кафка? По словам Франца, он не хочет сказать, что это было неправильно, — "возможно, другим путем тогда среди ночи нельзя было добиться покоя", — но, независимо от намерений отца, сыну был нанесен "внутренний ущерб". "По своему складу я никогда не мог установить правильной связи между совершенно непонятной для меня бессмысленной просьбой о воде и неопишимым ужасом, испытанным при выдворении из комнаты. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, что огромный мужчина, мой

отец, высшая инстанция, может почти без всякой причины ночью подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон — вот, значит, каким ничтожеством я был для него".

Думаю, не всякий сделал бы в подобной ситуации такое же заключение: вот какое я ничтожество для отца, если отец мог в наказание за бессмысленный скулеж среди ночи вынести меня на балкон. Но Франц Кафка сделал именно такое заключение и на тридцать седьмом году жизни — уже, заметим снова, доктор права и автор нескольких опубликованных книг — это заключение повторил: "Тогда это было только незаметным началом, но это часто овладевающее мною сознание собственного ничтожества... в значительной мере является результатом Твоего влияния".

Я невольно вспомнил историю другого сына, которому тоже пошел тридцать седьмой год, когда случилось ему — в экстремальной, как ныне говорят, ситуации — определить свое отношение к отцу. Речь идет об Аврааме и сыне его Исааке, которого Господь потребовал в жертву Себе. Праотец, как помним, был уже человеком весьма преклонного возраста, без малого ста сорока лет, и хотя отличался недюжинным здоровьем и силой, вероятно, все же уступал своему сыну, тоже крепышу, притом молодому летами. И вот, когда пришел час Исааку лечь на дрова, сложенные для костра, для чего предварительно надлежало связать его, Исаака, веревками, он не только не воспротивился воле отца, но, напротив, как говорит устное предание, сам попросил отца, чтобы тот покрепче его связал, чтоб в случае отчаянной попытки — а отчаяние придает человеку порою нечеловеческие силы — не удалось ему порвать эти веревки и воспротивиться таким образом воле отца.

Как известно, все кончилось благополучно: Господу не понадобилась жертва, это был просто экзамен праотцу Аврааму.

Сегодня, как и три с половиной тысячи лет назад, эта история приводится как образец твердости Авраама и верности его Господу. Но при этом опускают — или, по крайней мере, отставляют на второй план — другую сторону этой поучительной истории: историю сына, который, восходя по велению отца на костер, не только не проникся к нему враждебным чувством, но ни на мгновение не потерял к отцу ни доверия, ни любви. И во все остальные годы своей жизни, сколько знаем, не приходило Исааку в голову ни роптать на отца за пережитое потрясение, ни упрекать его в непонимании своего сына или недостаточной к нему любви. А потрясение было столь велико, что, по преданию, еще один участник этой драмы, мать Исаака Сара, не выдержала и умерла.

Франц Кафка, хотя не обращался к истории своих пращуров, тоже несколько раз, и не походя, подчеркивал, что не намерен винить отца: "...Я тоже думаю, что Ты совершенно неповинен в нашем отчуждении". К тому же, писал Франц, он никогда не сомневался в любви и в добром к нему отношении отца.

Но как согласовать все эти уверения, несомненно искренние и тщательно взвешенные, со всей тональностью письма, со всем его материалом, которое, если бы речь шла о юридическом документе, вполне могло бы квалифицироваться как обвинительное заключение или, в лучшем случае, как иск, вчиненный ответчику истцом. Письмо сына отцу — документ, несомненно, частный, даже интимный. Таким оно, письмо Франца Кафки своему отцу Герману Кафке, и было: автор не предназначал его для публикации, более того, в своем завещании он просил сжечь его. Но поскольку, хотя и вопреки воле писателя, оно сохранилось, ныне отведено ему место как литературному произведению в общей истории литературы.

Трудно отделаться от впечатления, что и изначально письмо это сочинялось как литературное произведение эпистолярного жанра, какой, правда, ныне вышел уже из моды. Что написано оно рукой талантливого, искусного художника, сомнения нет. Но наряду с этим неотступно, я бы даже сказал, назойливо теснит и другое впечатление: по своей обстоятельности, перечню, пункт за пунктом, претензий письмо приводит на ум тщательно составленный иск. Правда, истец, в данном случае Франц Кафка, не ищет выгод, не делает ставку на выигрыш дела; истец искренне стремится быть объективным в своих усилиях установить истину.

И тут, признавая безоговорочно эту искренность и это стремление к объективности, следует сказать "но": но эмоциональная установка, какая помимо воли автора вырабатывалась у него всю жизнь, с ранних, младенческих лет, предопределила угол зрения, под каким он рассматривал все дело. Йозеф К., двойник Франца Кафки, герой романа "Процесс", полагал, что вина изначально лежит на нем. Но Франц Кафка, автор романа, полагал, что вина изначально лежит на другом человеке, в случае с ним — на отце его и, следовательно, нет надобности доказывать, что Герман Кафка виновен, это самоочевидно, а следует только представить "корпус деликти" — состав преступления.

Обвинительное заключение содержало все, что попало в поле зрения Франца, осело в его памяти за тридцать с лишним лет жизни, с тех далеких дней, когда он обрел способность видеть и запоминать: и голос Германа Кафки, и манера его ковырять зубочисткой в ушах, и глотать горячую

пищу большими кусками, и хлебные крошки, какие были у Германа под столом, и манера его чавкать во время еды, как и манера одергивать и передразнивать всех тех, кто, как правило, заслуживал упрека в меньшей степени, чем он сам.

В "корпус деликти" записывалось все, даже евгеника: типические черты семьи Кафки и семьи Лёви, откуда происходила мать, с последующей сравнительной характеристикой. Франц любил мать, однако преданность, с какой она всю жизнь относилась к Герману, сама по себе достойная восхищения, все же заключала в себе для Франца К. и нечто вызывавшее в нем протест или, в более умеренных случаях, неодобрение.

Это ощущение единовременного присутствия корней, какие представляли отец и мать, не были исключительным свойством семьи Кафки-Лёви. Граф Лев Толстой, когда сын его Лева принес ему однажды свои рассказы, сказал, возвращая рассказы автору: "Вы все, Берсы, очень талантливы". Графиня Софья Андреевна, Левина мать, была из Берсов. Лев Львович, как рассказывают биографы Толстого, ненавидел своего отца, и чувство это было отмечено глубиной и постоянством.

Франц Кафка, исследуя свое генеалогическое древо, обнаружил в себе черты, унаследованные и от Кафки, и от Лёви. Но больше все-таки от Лёви.

"Сравни нас обоих, — писал Франц отцу. — Я, говоря очень кратко, — Лёви с определенной кафковской закваской, но движимый не кафковской волей к жизни, деятельности, завоеванию, а присущими всем Лёви побуждениями, проявляющимися украдкой, робко, в другом направлении и часто вообще пропадающими. Ты же, напротив, истинный Кафка по силе, здоровью, аппетиту, громкоголосию, красноречию, самодовольству, чувству превосходства над всеми, выносливости, присутствию духа, знанию людей, известной широте натуры..."

Все эти эпитеты, которыми столь щедро унастил свой пассаж Франц Кафка, обычно весьма сдержанный, я бы даже сказал, осмотрительный и щепетильный, когда дело доходило до определений, в действительности вопреки первому впечатлению не являются панегириком. Скорее наоборот: при объективном восхищении, какое эти качества, по расхожему идеалу силы, должны бы вызвать у всякого человека, субъективно у него, у Франца, вызывали прямо противоположное чувство. Слов нет, Франц хотел бы, чтобы и плечи были у него шире, и голос зычнее, и манеры под стать Герману Кафке, властные, как пристало подлинному хозяину, но возможно ли было бы согласовать все эти качества с тем главным, что было в нем, Франце: с его неодолимым зовом к писательству, с его писательским естеством?



Франц Кафка
1905 год

В кафковедении — европейском и американском — настойчиво звучит сакральная нота: Франц Кафка — сын пражского гетто. Не только родословная, но и вся жизнь Кафки, с уймой деталей этнического, культурного, бытового, топографического характера неопровержимо свидетельствуют в пользу этого суждения: Франц Кафка — сын гетто.

Но возникает вопрос: а Герман Кафка, отец Франца и его антипод — сын именно так и воспринимал своего отца, — не детище ли гетто, не плоть ли его от плоти? Так резонно ли, не исключая, конечно, того элемента, который вносило в жизнь всех своих обитателей гетто, сводить дело Франца Кафки, точнее,

дело "Франц К. против Германа К." к топографии и этническому окружению, в каком сложились все наиболее существенные детали дела, представленные в "Письме отцу"?

Стремление разрешить все загадки человеческого духа, ссылаясь на материальные обстоятельства его проявлений, достигло своего апогея в эстетике соцреализма. Но склонность искать все объяснения в конкретных житейских условиях человечество обнаружило задолго до появления Маркса и марксо-ленинской эстетики. Между тем простейший вопрос: "почему в одних и тех же обстоятельствах люди, порою ближайшие родичи по крови, воспитанные в одной семье, усвоившие общие привычки, получившие одинаковое образование, ведут себя по-разному, вплоть до полного отчуждения и взаимной ненависти?" — должен был бы, казалось, поставить под сомнение перспективность такого подхода.

"Письмо к отцу", хотя и обильно уснащенное деталями быта и будней, отмечено глубинным, нутряным пониманием, что есть нечто, выходящее за пределы нашего понимания и, главное, наших возможностей, нашей способности изменить ход вещей.

Предъявив Герману К. ряд суровых обвинений — и воспитание дал он

своему сыну не то, и требовал от него того, чего заведомо требовать нельзя было, и ожидал от него того, чего ожидать не следовало, и, хотя и любил сына, но любил не так, как должно было любить, Франц К. несколько раз сам одергивали себя: "Здесь, — писал он отцу, — возможно, отчетливее всего проявилась и наша взаимная невинность... Эта обоюдная невинность мне особенно ясна еще и потому, что подобное столкновение снова произошло между нами при совершенно других обстоятельствах лет двадцать спустя..."

И вот парадокс — еще одно свидетельство, что, хотя и наделенные свободой воли, мы едва ли способны преодолеть себя, — Франца К.: взаимная обоюдная невинность, которая столь отчетливо виделась ему в отдельные мгновения и почти всегда присутствовала как часть общего фона его мироощущения, фундаментальной основы творчества, вытеснялась неодолимым желанием, какое свойственно всякому человеку, усмотреть вину и, соответственно, взвалить за нее ответственность — если не в намерениях ближнего, то в делах его.

Понимал ли это сам автор письма, Франц К.? Несомненно, и вот слова, какими, как видится ему самому, мог бы ответить ему отец:

"Ты утверждаешь, что я облегчаю себе жизнь, объясняя свое отношение к тебе просто твоей виной, я же считаю, что ты, несмотря на все свои усилия, не только снимаешь с себя тяжесть, но и хочешь представить все в более выгодном для тебя свете. Сперва ты тоже отрицаешь всякую свою вину и ответственность — в этом смысле наше поведение одинаково. Но если я откровенно приписываю всю вину одному тебе, ты хочешь быть одновременно сверхрассудительным и сверхчутким и тоже снимаешь с меня всякую вину. Разумеется, последнее удастся тебе лишь по видимости (а большего ты и не хочешь), и между строк, несмотря на красивые слова о сущности и характере, и антагонизме, и беспомощности, проступает обвинение, будто нападающей стороной был я, в то время как все, что ты делал, было лишь самозащитой. Так — ты самой своей неискренностью мог бы уже достаточно достичь — ты доказал три вещи: во-первых, что ты не виноват, во-вторых, что виноват я, и, в-третьих, что ты из чистого великодушия не только готов простить меня, но и — ни мало ни много — доказать и самому захотеть поверить, будто я, вопреки истине, тоже не виноват".

"Письмо к отцу" уже более трех четвертей века читает весь мир. Не читал его только тот, кому оно было адресовано.

Трудно допустить, что за четыре с половиной года — письмо было написано в ноябре 1919 года, Франц Кафка умер в июне 1924-го, — не было

возможности вручить письмо адресату. Известно, что близкие, в первую очередь, мать, противились этому. Но, хотя бы и с учетом этого обстоятельства, невозможно преодолеть впечатление, что Франц К., для которого конфликт с отцом был одной из главных батарей, откуда он черпал свою энергию и волю к самовыявлению, и сам не желал этого, ибо для него, для художника, главным было самовыявление в слове.

Нью-Йорк

